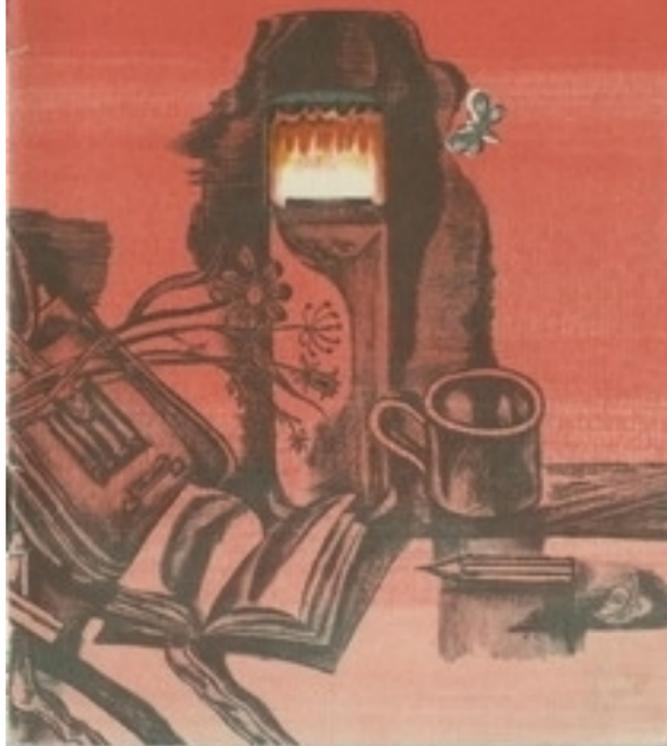


Сергей
Никитин

Плещущая звезда



Сергей Константинович Никитин

Падучая звезда

OCR – Черновол В.Г.

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=160592

Падучая звезда: Повесть: Современник; Москва; 1984

Аннотация

Владимирский писатель Сергей Никитин (1926–1973) хорошо знаком читателям по сборникам рассказов и повестей «Весенним утром», «Горькая ягода», «Костер на ветру», «Моряна», «Живая вода» в многих других. Манера писателя отличается тонким пониманием слова, пристальное внимание к внутреннему миру героев, умение за обыденными событиями увидеть глубинные движения души.

Герой повести «Падучая звезда» рядовой пехотных войск Митя Ивлев, подобно тысячам его восемнадцатилетних сверстников, отдает свою жизнь за Победу в наступательных боях тысяча девятьсот сорок четвертого года.

Содержание

I	4
II	8
III	12
IV	17
V	20
VI	26
VII	29
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Сергей Никитин

Падучая звезда

*Уродился юноша
Под звездой безвестною,
Под звездой падучею,
Миг один блеснувшею
В тишине небес.*

Пушкин

I

В наступательных боях тысяча девятьсот сорок четвертого года рядовым пехотных войск принимал участие некто Митя Ивлев.

Был июль, ночь. В сосновом лесу позади окопов стояла гулкая, как в пустом храме, тишина. Сняв каску, Митя положил голову на бруствер и смотрел на верхушки сосен, плоско и четко, словно аппликации, чернеющие на фоне неба. Случались у него в детстве минуты, когда, разглядывая голубые жилки на своих руках или слушая стуя своего сердца, он вдруг волнуяще и странно удивлялся тому, что все это именно он – несомненный, живой и, разумеется, вечный в будущем мальчик Митя. И сейчас, слушая эту смущающую своей необычностью тишину, глядя на небо, виновато и груст-

но помаргивающее редкими звездами, он так же был наполнен этим странным ощущением своего присутствия в поднебесном мире. Вот холодок тумана на лице, смолистый запах леса, покалывающе глубокий вдох... И, боже мой, неужели есть границы его, Митино, «я», втиснутого в маленький индивидуальный окопчик, неужели может без следа исчезнуть все, чем уже наполнено оно за восемнадцать лет?!

Он помнил себя с младенчества. Впрочем, это еще не воспоминание, а какое-то мучительное впечатление хаоса, который внезапно обрушивался на него раздирающим скрежетом, катастрофическим смещением окружающих предметов, потрясением всех клеточек мозга и позже долгие годы был самым ужасным кошмаром его детских снов. Возможно, это впечатление было оставлено у него трогающим с места вагоном, потому что в то время Митю часто перевозили из города в город его неустроенные родители, но кто же знает...

Потом была большая, наполненная зеленым полумраком штор комната, в которой по белому потолку разбегались какие-то веерообразные, переломленные на матице тени. Был рубиновый огонек лампы перед бабушкиной божницей; были дядины ружья, висевшие на лосиных рогах; была бутылочка с соской, и был холодящий ужас, когда из-за края стола поднялась седая, лохматая шкура (дядя в вывороченном полушубке), схватила бутылочку, и Мите сказали, что это медведица унесла ее своим медвежатам.

Все это – и комната, и божница, и ружья – было на втором

этаже двухэтажного дома из серого камня. Эти полые шероховатые бруски цемента и гравия, похожие на плитки козинаков, своими руками формовал дед Мити – рабочий железнодорожных мастерских; он сам постепенно выкладывал и стены дома, мечтая со временем разместить в его вольготном просторе свою многочисленную семью, но три войны начала века унесли почти всех его сыновей, сам он тоже умер вскоре после Октябрьской революции, и дом оказался слишком большим для траченной смертью семьи. Весь нижний этаж поэтому занимали квартиранты, а в трех верхних комнатах и на просторной террасе, увитой волчьим виноградом, с бабушкой, мамой и дядей жил Митя. Отец к тому времени надолго выпал из его жизни.

Летом на дворе Мите стелили два выстиранных и еще хранивших запах речной воды половика, он садился на них и часами мог оставаться один. Едва уловимо пахло нагретыми заборами, лопухами, крапивой. Роясь в пыли, мирно квохтали куры; важный селезень, тонкоголосо пошваркивая, вел к корыту с водой ленивых уток; рядом с Митей на половиках пойнтер Лай щелкал зубами на докучливых мух. Этот мосластый, ребрастый, неуклюжий пес был добродушен и конфузлив, часто задумывался со слезой в грустных глазах и вдруг прерывисто вздыхал, словно ребенок после продолжительного плача. Во сне его преследовали кошмары, он скулил, повизгивал, и тогда приходилось будить его толчком в бок. Он всегда вызывал в Мите щемящую жалость, приходя с разо-

рванными ушами, кровоточащим глазом или прокушенной губой после драки с другой собакой, обитавшей во дворе, – угрюмой рыжей дворнягой Пиратом. Это был некрупный, но по-боецки ловкий, мускулистый и свирепый зверь. Его прозрачные глаза смотрели зло и презрительно.

О, как страстно желал Митя хоть одной минуты торжества Лая над этой рыжей тварью, источавшей смрадный запах помоек и псины!

Но странно – как ушел Лай, доживший до глубокой старости, он не помнил, а вот Пирата, из озорства убитого квартировавшими на первом этаже плотниками, он сам закопал под стеной сарая и часто потом плакал, вспоминая в лохмотья иссеченную топорами рыжую тушку с одним отверстым глазом, затянутым голубоватой мутью.

II

Первым его ощущением матери было, пожалуй, ощущение необыкновенно душистого тепла. Сделавшись постарше, он часто украдкой целовал ее одежду, чтобы почувствовать этот милый запах. Но лицо, лицо ее существовало для него только теперешнее: с грустными, много плакавшими глазами, которые всю жизнь будут ему самым мучительным упреком за то, что он часто бывал виновником их скорбных слез.

Один только день раннего детства, связанный с матерью, брезжил в его памяти. Они шли мимо торговых рядов по раскаленным булыжникам мостовой, он держал в руках коробку с оловянными солдатиками и, несмотря на обладание этой вожаденной коробочкой, капризничал, потому что устал и хотел пить. И, должно быть, какой счастливый день был у мамы, если, обычно раздражительная и усталая, она в ответ лишь весело подтрунивала над Митей, потом – о радость! – подошла к извозчичьей пролетке, посадила его на высокое, стеганное ромбами сиденье, и они покатали, покатали по солнечным улицам города мимо белых стен и сверкающих окон...

Мама, мама! Когда-то за величайшее счастье почитал Митя ласку и нежность ее, но с годами (и почему это только случается!) стал стыдиться открытого проявления своих чувств к ней и, уезжая на фронт, старался лишь об одном: в послед-

нюю минуту расставания найти в себе силы не ответить на ее горькую любовь напускной холодностью. И то первое прозрачное воспоминание хранил теперь как некий талисман, дающий надежду прожить честно и чисто.

Гораздо больше подробностей оставили в его памяти те ранние годы о бабушке. Она внушала ему почтительную боязнь перед богом, и поэтому первые воспоминания о ней связаны с таинственным блеском церковных иконостасов, сладким обжорством рождественских и пасхальных праздников, прохладным шумом кладбищенских берез. Опустившись на колени перед божницей, полный искренней веры в чудо, шептал он, осеняя себя крестным знамением:

– Боженька, верни мне папу.

Высокая, красивая дородной румяно-белой красотой русской женщины, бабушка была заметна и почитаема в их маленьком городе. С достоинством домовитой хозяйки, в длинной синей юбке и белой свободной кофте, она плавно шествовала через толкучий воскресный базар, а из-за лотков и прилавков ей кланялись молочницы, мясники, зеленщики. Летний базар всегда волновал Митю своей пестротой, разноголосым гомоном, запахами лошадей, рогож, сена, солений, рыбы. Отстав от бабушки, он путался в толпе среди телег, зачарованно глазел на красноглазых кроликов, на чистых, как хлопья снега, голубей, на россыпи ярких безделушек, которыми торговали китайцы, невесть каким ветром занесенные в этот городок средней России. Китайцы были самые насто-

ящие – с желтыми лицами, узкими глазами, длинными ко-
сами, – но торговали местным товаром. Чего только не бы-
ло насыпано на их ковриках, расстеленных прямо на булыж-
никах базарной площади! Всевозможные пуговицы, пряжки,
шпильки, иголки, глиняные свистульки, батарейки, мартыш-
ки, паяцы и черти на пружинках, литые пугачи, пробки...
Вот один из китайцев, распаяясь все больше, торгуется с
флегматичным человеком в пыльном пиджаке из-за батарей-
ки для карманного фонаря.

– Это плохая? – возмущенно кричит он, вертя батарей-
кой перед носом снисходительно улыбающегося покупателя,
и вдруг изо всех сил шмякает ее о камни мостовой. – Не дер-
жу плохого товара!

У Мити дух захватывает: и батарейку жалко, и китаец пу-
гает чем-то нездешним, невиданным.

По пути с базара они всегда заходили в маленькую при-
кладбищенскую церковку Ивана-воина. Бабушка молилась
божьей матери и Христу, а Мите нравился бородатый Нико-
ла, похожий на деревенского старика Василия Васильевича,
который иногда заезжал к бабушке попить чаю. Он был весь
какой-то свойский, обыденный, этот Никола, и у него не со-
вестно было попросить все, что угодно, от папы до пугача с
пробками, тогда как бабушкины иконы своими скорбными,
мученическими ликами вызывали в Мите жалость и подо-
зрение в неспособности одарить его чем-то вещественным.

Молились они недолго. И каноническим молитвам ба-

бушки, и Митиной импровизации одинаково хватало трех-
пяти минут, чтобы иссякнуть. Бабушка величественно вы-
плывала из церкви, и они прямо с паперти вступали в яркие
движущиеся тени кладбищенских берез, в щебетание птиц,
в запущенную пестроту трав и цветов, пробираясь по узким
тропинкам к могиле, где лежал Митин дедушка. Над ней
густым зеленым клубом вздымался огромный куст сирени.
Присев под ним на лавочку, бабушка вытирала платком гла-
за, а Митя... Он еще никогда не видел смерти, и в эту мину-
ту ему тоже до горьких слез было жалко бабушку, но не того,
над кем трепетал своими сочными листьями сиреневый куст.

III

Отец его вел странный образ жизни. Он был инженером-дорожником и потому (так было принято считать в семье), что вблизи их города не строили дорог, скитался по всей стране, присылая открытки то с Северного Кавказа, то из Средней Азии, то с Дальнего Востока. Иногда он неожиданно появлялся. Входил загорелый, худой, смеющийся и ни с кем не здоровался, точно вышел из дому всего час назад. А через несколько дней уже сидел у окна небритый, рассеянный, угрюмый, напевая песню, которая до сих пор вызывала у Мити раздражение своей нелепостью:

*Лилovenький цветочек
Испанской красоты,
Ты меня не любишь,
А я – наоборот.*

Любил ли он отца? Пожалуй, нет. Его любовь к мужской половине света безраздельно принадлежала дяде. С ним была связана страсть к таким волнующим вещам, как ружье, патронташ, пистоны, порох, собачий ошейник, плетка, крючки, лески, удилица, блесны...

Вернувшись с охоты, дядя клал возле его постели убитую дичь, а утром он с любопытством и трепетом перед какой-то

загадкой рассматривал, поворачивая в руках, краснобровых тетеревов, щеголеватых весенних селезней, скромных пестреньких куропаток или тяжелого окоченевшего зайца. Чем-то странно пахло от них – пером? кровью? порохом? снегом? болотом?..

Мите уже семь лет. Он лежит с дядей под одним одеялом на застекленной с трех сторон террасе и, за всю ночь так и не сомкнув глаз, смотрит на окно. Там, сквозь лозы волчьего винограда, виден неподвижный, как глыба, клен, тонкий серпик луны чуть сбоку от него и густая россыпь зеркально блестящих августовских звезд. Бесконечно тянется эта попытка бессонницей и ожиданием. Но вот серебристо-голубой серпик, поднявшись выше клена, начинает как будто истаивать, бледнеть, дядин яростный храп внезапно обрывается, и Митя сейчас же вскакивает, точно подброшенный тугой пружиной.

– Пора?

Все готово еще с вечера. Переговариваясь шепотом, они быстро одеваются, выпивают по стакану молока с хлебом и выходят за ворота.

Очарователен и странен город в предутренней тишине. Где-то звучно шелкают по мостовой каблучки одинокого прохожего; сама по себе, без ветра, вдруг прошелестит листва тополей; протрусит, опустив голову, не глядя по сторонам, собака, и оттого, что у нее есть какая-то своя, непонятная, не зряжая людям жизнь, леденящий холодок мистического

страха на миг обожжет с головы до пят, точно это и не собака вовсе, а оборотень. Митя старается держаться поближе к дяде. Они спускаются по крутым окраинным улицам к реке, которая вся – с берегами, плотомойками, реденьким ивняком, лодочными причалами – укрыта, как мокрой ватой, густым туманом.

– Оп! – негромко кричит дядя в этот туман.

И через минуту из него неуклюже вылезает огромная фигура, неся с собой крепкий запах махорки, пропотевшей одежды, рыбы. Мите удастся разглядеть заросшее щетиной лицо с крупным носом, глубоко ушедшие под лоб глаза и дальше, до самой земли, только широченный тулуп с длинными болтающимися рукавами.

– У-у-у, – радушно гудит фигура, приглядываясь к дяде. – Не отбило тебе, Егорыч, охотку впустую-то шляться? Я бросил. И фузею свою зятю продал... Нет той охоты, милоч, а этой и не надо, напрасное дело.

Митя преисполнен важности оттого, что дядю знают все охотники, знает этот лодочный сторож, и ему хочется как-то особенно подчеркнуть свою близость к дяде и ко всему дядиному.

– Лай! – негромко, но строго зовет он и берет за ошейник Лая, который весь мелко дрожит от возбуждения.

Дядя и сторож исчезают в тумане; отчетливо слышны на воде их голоса, гремит лодочная цепь, стучат уключины.

Наконец все готово. Митя садится на корму, привычно

прыгает в лодку Лай, и дядя начинает легко, без толчков, отгребать от берега.

– Напрасное дело, – еще раз со вздохом напутствует их сторож.

На воде тихо. Но если прислушаться повнимательнее, тишина, полная мелких шорохов, бормотанья, бульканья, всплесков – невнятных звуков реки, звуков ее жизни и ее движения. Куда и долго ли плыть в этом розовом от восходящего солнца тумане? Но дядя уверенно направляет лодку по реке, по старицам и протокам, пока из тумана вдруг не выступают очертания изб, плетней и сараев. Это деревня, где живет тот самый Василий Васильевич, который похож на Николу-угодника. Должно быть, какое счастье – жить здесь, в этой заречной деревне! Пока дядя привязывает лодку к врытому в берег бревну, Митя вслушивается в далекое мычание коров, в щелканье пастушьего кнута и воображает себя взрослым, живущим в такой же точно деревне. Лодка, ружье, собака – больше ничего не нужно ему в жизни; он встает каждый день на рассвете, кладет в сумку хлеб, лук, соль и, свистнув собаку, уходит в болота и поймы бить дичь... А туман между тем поднимается выше. Сквозь него неясно видно большое желтое солнце; блестят мокрые крыши в деревне, и весь изволок, сбегаящий к ней от горизонта, словно золотом, залит поспевшей рожью.

– Слышишь? Это коростель, – говорит дядя.

– Коростель? – трепетно повторяет Митя, прислушиваясь

к сухому скрипу в прибрежных кустах.

И, как на своих богов, с благоговейным восторгом смотрит на дядю, на Лая, на ружье...

IV

Может быть, это особенность возраста или особенность его, Митиного, восприятия мира, но только, оглядываясь на свое раннее детство, он не видел там ни зим, ни осени, ни ночей, ни ненастья, точно все оно было залито необыкновенно ярким ласковым солнцем. А может быть, все дело в том, как сам оцениваешь в зрелом возрасте события давних дней? Разве не казался ему тогда пронзительный, жгучий укус пчелы целой трагедией и разве не со счастливой улыбкой вспоминает он теперь этот случай?

В ту же раннюю пору жизнь одарила его настоящим приключением.

Один конец улицы выходил прямо в небо, на закат; там, за рекой, дымчато синел лес, отчеркивая горизонт четкой прямой линией. Выходя за ворота, Митя всегда встречался с этой далью, поглощавшей по вечерам то багровое, то желто-туманное, то золотистое солнце, и, конечно, думал о том, что же скрыто там, за синей кромкой леса, куда ниспадал потухающий купол неба. Ни религиозным объяснениям бабушки, ни научным – матери равно остался он неудовлетворен. Возчик Андрон, этот санитар города, вывозивший на свалку отбросы от помоек, маленький, несоразмерно широкоплечий, весь от ворота до сапог закрытый громышающим брезентовым фартуком, долго смотрел из-под руки в конец

улицы и сказал:

– А ничего там нет. Ветер.

Тогда Митя сбегал однажды вниз по улице, пересек капустные огороды на заливном лугу, намотал на голову трусишки и майку и ступил в быстрое течение реки. Он уже бывал в заречной пойме, где собирал с мальчишками орехи, переходя реку вброд, и все же панический страх охватил его, когда течение напористо ударило в бок, завиваясь маленькими быстрыми воронками, и он увидел, как далеко оба берега и как одинок он в этом сверкающем потоке. Он хотел засмеяться для бодрости, когда ноги все же зацепились за ребристый песок отмели, но лишь как-то судорожно заикал всем нутром, и долго потом, уже на берегу, крупная дрожь время от времени сотрясала его худенькое тело.

В зарослях ивняка и орешника на том берегу он шел без дороги, натываясь на мелкие озерца, где среди зеленых водорослей плавали красноперые мальки окуня; видел скользящего в корнях и палую листву ужа; ел щавель, орехи, черную смородину, ежевику, а когда вышел на огромный, выжженный солнцем пустырь, простиравшийся до того самого леса, за которым небо сходилось с землей, то замер в восторге и удивлении. Он увидел настоящую пушку. Неподалеку от нее под навесом стоял красноармеец с винтовкой.

– Валяй отсюда, пацан, – сказал он. – Нельзя.

И надолго потом осталось у Мити убеждение, что часовой с винтовкой и пушкой охраняет ту заповедную черту, за ко-

торой, по несправедливым словам Андрона, будто бы нет ничего, а только ветер.

V

Еще в детстве жизнь связала его с природой, не обнеся этим драгоценным даром.

Городской двор был обширен и дик, весь в лопухах, крапиве, полыни, в кустах желтой акации и бузины, в непривитых яблонях и выродившемся вишеннике. В поддревесной сыри водились лягушки и ящерицы, мокрицы и черви. Под крышами всевозможных сарайчиков жили летучие мыши и птицы.

Двор обогатил его названиями деревьев и трав, всех ползучих и летающих тварей.

За лето он дичал на этом дворе – спал в обнимку с Лаем на половиках, ел стручки акации, яблоневою завязь, пил теплые куриные яйца, которые находил в лопухах и крапиве. Смазывая вазелином его цыпки, мама грустно вздыхала и уносила к себе на постель, чтобы хоть ночью овеять теплом своей ласки.

В одно из дошкольных лет, еще до того, как дядя первый раз взял его на охоту, Митя на целый месяц попал в деревню. Ему запомнились теплые сумерки, высокое бледное небо, розовенькие облака по горизонту и две проселочные колеи во ржи, разделенные муравчатой бровкой. Он сидит с мамой в телеге; ему очень хорошо с ней, но он пока не ведет всей меры своего счастья, потому что то, что будет у

него впереди, окажется еще прекраснее и запомнится на всю жизнь, как лучшее время близости к маме.

«Спать пора... спать пора...» – посвистывает во ржи перепел.

И Митя засыпает. Уже темно, когда он открывает глаза, кто-то большой, широкий, загородивший ему спиной полнеба, идет, держась за край телеги, и Митя в полусне слышит разговор:

– А ты, паря, откуда будешь-то? – спрашивает возница.

– Я-то? Дальний. Это тебе знать не обязательно.

– Ишь заноза! Ну хоть, как звать, скажи, а то идешь, и неизвестно, кто ты.

– Зовут нас, дядя, зовулькой, а величают свистулькой.

– Смотрю, строптив ты, паря.

– Это верно, я гордый.

И оба умолкают. Снова лишь скрип телеги да непрерывное, наполняющее весь ночной воздух свиристение кузнечиков.

Деревеньку – в один ряд домов, с часовней и кирпичными кладовыми – с трех сторон окружали ржи и выпасы, а с четвертой – подпирал редкий, но могучий, сухой и солнечный бор. Тихой музыкой слышался в ветреную погоду его шум; что-то непривычно возвышающее цыплячью Митину душонку было в прямизне высоченных сосен, в вековой невозмутимости тишины и покоя бора. Он никогда не кричал, не бегал там, стараясь держаться поближе к маме, и

она спрашивала:

– Боишься?

– Н-нет, – смущенно отвечал он, не понимая, что такое творится с ним.

Он любил бывать в бору только с мамой, чувствуя какое-то счастливое единение с ней, точно весь вливался в ее душистую теплую грудь.

Никогда не забудет он, как схватила она его, когда он упал с воза сена, и отчаянно плакала, ощупывая его голову, руки, ноги, и он тоже плакал – не от боли и страха, а от жалости к ней, такой неутешно несчастной в эту минуту.

Но если в бору Митя бывал только с мамой, то сама деревня и вся ее округа были открыты ему деревенскими мальчишками. Из них он помнил приземистого, кривоногого Толянку, ловкого во всех играх и удачливого во всех мальчишеских промыслах. Помнил босоногую, рваную, немытую ораву ребят вдовы Натальи, но все они слились у него в одно курносое сопливое лицо, и только Игнаша – тоненький большеголовый мальчик, спокойный, добрый и справедливый, – выделялся как-то особо. Вот, пожалуй, и все.

Вставал Митя вместе с пастухом. Этот маленький корявый мужичок в лаптях и в каких-то словно нарочно рваных и трепаных лохмотьях удивительно хорошо играл на рожке. И навсегда в Митином представлении туманный деревенский рассвет соединился с этой чистой песней рожка, со сказкой о тростниковой дудочке, заговорившей человеческим голо-

сом, хотя пастуший рожок тех мест – вовсе не тростниковая дудочка. То были места известных владимирских рожечников, и, боже мой, как же играл этот деревенский пастух, как он играл, если в неокрепшую детскую Митину память навсегда вошли не только сам пастух и бредущее в тумане стадо, но и сама от нотки до нотки мелодия рожка, необыкновенно напевная, отзывающаяся в душе чистым грустным чувством!

Росистое, ясное, расцвело утро. В бору куковала кукушка. Мальчики загадывали, сколько лет им жить, и радовались, когда уже сбивались со счета, а она все еще продолжала щедро отсчитывать годы.

В кузнице ей вторил звонким перестуком своих молоточков кузнец Бабка, веселый кудрявый силач и красавец, ломавший березовые оглобли, как спички. Добродушно матеря мальчишек за их докучливость, он охотно отливал им тяжелые свинцовые биты на зависть всем окрестным деревням.

Предельно чисты были утренние звуки в деревне, не смешиваясь в сплошной, уже неслышный привычному уху шум, как это бывает в городе. Вот проголосил петух, заскрипели ворота, тяжело шлепнулось на влажную землю яблоко в саду.

С неосознанной остротой и жадностью впитывал Митя этот новый для него мир. Возле мелкого теплого пруда, который назывался здесь Барский двор, росли пышные таволги; весь косогор, поднимавшийся от деревни к бору, пестрел фиолетово-желтыми цветами иван-да-марьи, а заливные луга за прудом межевались то золотой полосой лютика, то бе-

лой – поповника, то розовой – клевера. Должно быть, избалованный в детстве этим цветочным изобилием, Митя так и не приобрел городской привычки тащить домой букеты луговых цветов.

Толянка водил Митю на луговые баклуши мутить щурят. Этому занятию мальчики с упоением предавались часами. Теплая грязь по колено, обожженная до костей спина, резкая вонь рыбьей чешуи от рук, живота, груди, трусишек – все сливалось в азартное наслаждение охотой, которая, как известно, пуще неволи.

Подошла молотьба. Вокруг машины с ржавыми зубчатыми колесами сновали пестрые рубахи, кофты, мелькали в пыльном воздухе золотые снопы.

Мите разрешили покрутить ручку машины, но сил его не хватило даже на то, чтобы сдвинуть ее с места, зато барабан веялки, ходивший легко и бесшумно, он крутил до усталости, поднимаясь наутро со сладостной ломотой во всем теле.

И надо же было случиться такому, что именно в эту спелую пору лета – пору зрелости плодов, самую богатую пору природы и человека, – на деревню обрушилось бедствие.

Ночью Митю разбудил встревоженный голос хозяйки: – Оно хоть и далече от нас занялось, а надо вынести.

Мама крепко обняла Митю. За окном бился багровый отсвет, звякал набат, но Митя еще никак не мог связать этот тревожный свет, этот набат, дрожащий шепот хозяйки и ощущение мамы в одно понятное слово – «пожар», пока мама

не спросила:

– Кто горит?

– Наталья. Ох, лишенько! – вздохнула хозяйка.

И тогда Митя понял. Что-то слабенькой птичкой тоненько-тоненько затрепетало, забилося у него в груди, он выбежал вместе с мамой из избы, увидел огромный, разодранный на вершине столб черно-красного пламени и уж не помнил из этой страшной ночи ничего, кроме самой пустяковой подробности: кто-то остервенело мотал створку Толяниного окна, стараясь оторвать ее от рамы.

Утром Наталья сидела на сундуке у россыпи курящихся серым дымом головешек и плакала. К Мите подошел Игнаша.

– Яблочки теперь у нас печеные, – сияя, сообщил он. – Айда в сад!

И они побежали в сад сшибать палками яблоки с высокой корявой яблони, дочерна обожженной пожаром.

VI

К счастью для Мити, его бабушка была грамотной. Он не помнил, чтобы у него были детские книги, и даже Пушкин открылся ему не «Сказкой о рыбаке и рыбке», не «Золотым петушком», не «Семью богатырями», а «Сном Татьяны» да еще, пожалуй, сценой сражения Руслана с Головой. Их он мог слушать бесконечно и сам отыскивал в толстом томе по каким-то едва заметным пятнышкам на страницах. Бабушка читала как будто бы монотонно, но ровный, без повышений и понижений голос ее, правильная русская речь, выговор на какой-то изумительно точной границе между владимирским «о» и московским «а» создавали особую прелесть ее чтений.

Обычно они происходили по вечерам у горящей печки. В доме было несколько печей, и топили их одну за другой, чтобы коротать весь долгий зимний вечер у огня. Митя приносил уже раскрытый том, бабушка надевала очки в тоненькой серебряной оправе и, по временам задремывая, тихо вязала словцо к словцу в длинную нить рассказа.

*Пред ними лес; недвижны сосны
В своей нахмуренной красе;
Отягчены их ветви все
Клоками снега; сквозь вершины
Осин, берез и лип нагих*

*Сияет луч светил ночных;
Дороги нет; кусты, стремнины
Метелью все занесены,
Глубоко в снег погружены.*

В печи с тихим звоном осыпалась гряда березовых углей. Морозное окно вспыхивало голубыми искрами, и, когда Митю относили в постель, какие сны витали над ним, заставляя то счастливо улыбаться, то безудержно и горько рыдать?

Всемогущим чародеем этих снов был Гоголь.

«Подымите мне веки: не вижу! – сказал подземным голосом Вий. И все сонмище чудовищ кинулось поднимать ему веки».

Явь и небыль перемешались в податливом Митином воображении – блеск луны над заснеженными крышами с «Ночью перед рождеством», прозрачные весенние сумерки с «Майской ночью», летний базар с «Сорочинской ярмаркой», папоротниковые заросли в лесу с «Иваном Купалой».

И через много книг прошло впоследствии его детство, знал он, конечно, и Робинзона, и Гулливера, и Гаргантюа, и Мюнхгаузена, и каждый очаровывал его своей особой доблестью и славой, но никто из них не жил с ним в какой-то почти осязаемой близости, как гоголевские казаки, дивчины и парубки. Когда же спустя несколько лет счастливое провидение занесло в его городок оперную труппу и он увидел на утренних спектаклях «Майской ночи» и «Черевичек» знакомые образы, воплощенные в живых людей, в музыку, в дей-

ство, то окончательно уверовал в их реальное существование.

С этой, быть может, не такой уж наивной верой не расстался он и поныне.

VII

Последнее Митино лето перед школой прошло среди плотников, конопатчиков, кровельщиков, маляров, отстраивавших во дворе маленький, в две комнаты, флигель. К тому времени бабушка продала двухэтажный дом, который ей не под силу стало обихаживать, и семья доживала в нем последние дни, дожидаясь завершения постройки флигеля.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.